

ВЕСТНИК ЕВРОПЫ

Т О М Х Х Х V I 2 0 1 3

СУТЬ ВЕЩЕЙ
ФОТОПРОЕКТ
МИХАИЛА
РОЗАНОВА



РОССИЯ

Вл. Мау
Экономическое
обозрение

А. Медушевский
Конституция
как процесс

ИТАЛИЯ

А. Сергиевский
Рим

ISSN 1609-5359



9 771609 535002

ПОЛЬША

Кшиштоф Михальский
Время близко

ЧЕХИЯ

Иржи Кратохвил
Muchacha dormida



SHOUT
SHARE **IT**

- Ефим Гаммер
 -
 - День первый
 - День второй

Ефим Гаммер
Март 1953-го

Маленькая повесть

День первый

Воскресенье, 1 марта 1953 года

Одессия

— Чтобы ты об одну рюмку уже напился и упал на улице спать, — говорил мой дедушка Аврум Жоре-дегустатору, который обходил чистильщиков обуви на предмет проверки качества ваксы и сапожных щеток.

Дедушка Аврум приехал с нами в одном эшелоне. С Урала в Ригу. В декабре 1945 года. До того он работал в Оренбурге вахтером. На 245-м авиационном заводе. Но когда предприятие переименовали в 85-й ГВФ и перевели в Латвию, ему припомнили ГУЛАГ, лагерь под Соликамском, где он сидел, пока не попросился добровольцем на фронт, и отказали в доверии.

«Нельзя доверять бывшему зэку оружие, — решили в отделе кадров. — Пусть лучше берет в руки щетки и ваксу, это более пристойно для человека с судимостью».

Так что дедушка был чистильщиком обуви на самом деле, а Жора числился дегустатором только по прозвищу. Из-за любви к напиткам, имеющим градусы. Особенно он любил попробовать — какая на вкус дедушкина вишневка, приготовленная по одесскому рецепту со спиртовым наполнением.

По прозвищу Жору именовали заочно, когда он не слышит. А при встрече совсем по-другому: «товарищ старшина». Отсюда легко догадаться — Жора-дегустатор служил в милиции. Причем не первый год. Зимой ходил в шинели, летом в кителе и галифе, на плечах погоны с золотыми молотками, на боку пистолет ТТ.

Нам очень хотелось потрогать заманчивый пистолет, крайняя плоть рукоятки прилипчиво манила из задней прорези кобуры. Но подобное святотатство не полагалась по детскому чину. И поэтому мечталось: пусть хотя бы раз исполнится дедушкино пожелание: «чтобы об одну рюмку он уже напился и упал на улице спать».

Мечты, мечты, как много в дивном слове... Чего? Надо разобраться, если помозговать.

И мы решили помозговать: одна голова хорошо, а две лучше. У нас же было точь-в-точь, как по уговору, две. Моя и Лёнькина. При этом голова двоюродного брата числилась по шапочному разбору больше моей на размер, хотя он и родился на год позже. Моя была маленькая, но — удаленькая, держала в мозгах много

стихов. За что меня и прозвали в школе, по ассоциации с фамилией, Гомер. Иногда, правда, мою голову определяли иначе — «бедовая». Но я дулся на это определение.

Согласитесь, не по душе носить черепушку, начальными слогами похожую на беду. Лучше нечто удаленное. Ну, и носил — не снашивал. Тем более что взрослые, но не очень умные люди, которые даже слесарного молотка не припасли для хозяйственных нужд, нередко, в присутствии соседей, завидовали мне вслух: «Нам бы твою голову! Такой головой гвозди в стенку забивать!»

Разумеется, голову я никому не отдавал даже на краткую побывку в чужих руках, предположим, ради развески семейных фоток в рамочке под стеклом. А держал всегда при себе и вращал по мере возможности во все стороны, чтобы не упустить ничего интересного из жизни. Известно ведь: ты без толку болтаешься по улице, а жизнь проходит мимо с каким-то потаенным смыслом.

Чтобы не проходила мимо, ее и нужно было регистрировать сметливым глазом во всех подробностях.

Обрисовать — каких? Попробуем.

Допустим, сегодня воскресенье. Для одних выходной, а для других, похожих по специальности на моего дедушку Аврума, ничуть не выходной — настоящий трудовой день по персональному обслуживанию жителей Риги и мимоезжих туристов. При чем тут первый день недели. Почему первый, если по перекидному календарю последний? Не будем гадать на кофейной гуще, как говорит старшина Жора, если соприкасается с напитком без градусов. А скажем прямо: первый он потому, что так положено по-еврейски. Подробнее мне не докладывали. Но сообразить не сложно, если пораскинуть мозгами, как говорит тот же старшина Жора при желании оштрафовать пешехода за неположенный переход улицы. Итак, пораскинув мозгами, подбираешься к выводу: последний день недели является первым у евреев по той причине, что читают они справа налево, от конца строчки к ее началу.

Что же у нас в начале?

В начале — воскресенье, 1 марта 1953 года. В брюках перочинный ножичек и очиненный карандаш, на плечах, как на вешалке, пальто, под ногами рыхлый снег, а в душе — лето. Нет, не совсем лето — еще холодно и купаться нельзя, да и настроение дома совсем не подходящее. Папа болен. А врачей на горизонте не видно. Может, и не вызывал из-за опасения, что они, по писаниям газеты «Правда», «убийцы в белых халатах». Придут, достанут скальпель, и чирк по горлу — поминай как звали. Но все-таки при таком дискомфорте солнышко пригревает и птички

поют о том, что скоро на дачу, а там — пляж, море, лес, черника, грибы и всякие добавочные удовольствия.

Жуть, что за классное время набегают!

Для мужиков самая активная пора четвертинок по доступным ценам, которыми, в присутствии денег, понятно, они набивают карманы, чтобы на скамейке в парке, с закусоном из разлитого в свежем воздухе кислорода, «вздрыгнуть» в компании единомышленников.

Для женщин, выбитых войной из состояния первой любви, это иная, но столь же заманчивая пора. Чего? Появления неприятельных, как подснежники, женихов, способных уродиться и на парковой завалинке, под стеклянный перезвон чокающихся бутылочек «Московской».

Для любознательной детворы, едва освоившей азы русской письменности, это наступление увлекательной поры прочтения всякого рода вывесок и объявлений, но лучше всего — рекламных афиш внутри телефонных будок: «СТРАХУЯ ЖИЗНЬ, ВЫ ЭКОНОМИТЕ НА ПОХОРОНАХ». А еще рифмованных подписей мелкими карандашными буквами:

*Себя от холода страхуя,
в универмаге, наверху я,
купил доху я на меху я,
доха не греет ни черта.*

Исправлять грамматические ошибки мы были еще не ахти как способны, но что-то приписать — горазды на все сто, потому и носили в кармане карандаш и перочинный ножичек для заточки грифеля. А вы думали? Нет-нет, в первом классе мы еще не писали ручкой с пером, только карандашом фирмы «HAMMER».

Зато как писали!

И где?

На любом доступном карандашу материале. На бумаге, само собой. На подоконнике тоже. На оштукатуренной набело стене. В подвале, сарае. Ожидаете сокровенного признания черным по белому — «и в туалете»? А вот и ошиблись адресом. В туалете мы не писали, там всегда присутствовали по малой и большой нужде взрослые люди, которые, видимо, из-за нужды, были нервными — в углу рта папироска и матюки с ней по соседству, это значит — промеж зубов.

Что же мы обычно писали? А ничего непотребного.

«Сам дурак!»

«Таня + Миша = любовь!»

«Здесь был я!»

Главная надпись, конечно, «здесь был я!» Почему? По кочану, коли неразумные! Не догадываетесь, где я только не побывал в свои неполные для паспортной жизни годы! Если начнем загигать пальцы, то...

Первый загнутый палец — это город моего рождения Чкалов, переименованный из Оренбурга — родины «Капитанской дочки».

Потом, загигая всего через полгода второй палец, Рига.

За ней — загнем на недолгий срок третий палец — Кировабад и Баку, чтобы забрать папиных родителей из эвакуации и привезти их к нам домой на постоянное жительство.

И вновь — Рига, но уже с плюсом в десяток проходных дворов, знание которых превращает приезжего глазену-туриста в аборигена.

Ну а дальше — поездки и жительство на взморье: в Булдури, Дзинтари, Пумпури.

Ох, умаялся, перечисляя. Но добавить для полной достоверности необходимо: вся эта кругосветка за недолгую жизнь мою. А прокрути из нее хоть один день по спирали, как пулю по нарезному стволу, то наберется столько всякого-разного, что другому хватит на двадцать лет вперед, если пистолет не взорвется от перегрева в руках.

В моих руках не взорвался. Поэтому и начнем с пистолета, вернее, с нагана, а еще точнее, с револьвера фирмы «не пойму чего», но стреляющего без осечки. Это оружие мы с Ленкой нашли на чердаке «моего» дома, координаты — не секрет: улица Аудею, 10. В ту минуту ответственного поручения, когда по маминой просьбе развешивали для просушки белье.

Ствол лежал за бревном, почти смыкающимся с внутренней частью крыши, в укромном уголке, куда и мы спрятали бы его от фашистов, будь подпольщиками. Это был странный револьвер, всего на один патрон, без барабана. В верхней части рукоятки стояло тиснение — 1917 и тавро завода-изготовителя.

В каком-то немо фильме мы видели необыкновенно похожий. Страдающая от любовных терзаний молодая женщина в богатой шубке из соболей и с лисицей вместо воротника убила из него «нехорошего» мужчину во фраке. Согласно титрам, он обманул девичьи ожидания на счастливый брак, совершаемый законным образом на небесах, и женился на сопернице, ставшей после рокового выстрела «неутешной вдовой».

Цифра 1917 нам пришлось по душе: выходит, оружие революционное, с ним, должно быть, шли на штурм Зимнего дворца. Каким чудом оно попало в Ригу? Об этом мы не задумывались. Нас больше волновало: не заржавело ли оно, стреляет ли?

Как проверить?

Разумеется, нажав на спусковой крючок. Так мы и поступили. Курок щелкнул — все в порядке. Оставалось лишь всунуть патрон в казенник и найти подходящую мишень.

Мишень, действительно, следовало найти, а патроны, наоборот, сами нашлись прямо под револьвером. Где? В наручном ремешке, подобном папиному от часов «Заря», но с газырями, как на черкеске — недоступной мечте свободолюбивых пацанов, неоднократно смотревших фильмы «Свинарка и пастух» и «Смелые люди».

Патрон мы всунули в ствол, под мишень приспособили пустое ведро, в котором тащили на верхотуру мокрые рубашки. И ба-бах! С промахом, но без осечки. И ведро не повредили, и в убойной силе «дамского оружия мести» убедились, и что не менее важно, слегка пошумев, никого не всполошили. Теперь, разгорись завтра война, нам есть с чем идти в поход, встретить и разгромить врага — на своей, разумеется, территории, потому что «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим».

В отношении «своей» еще более правильно, чем «чужой». В первую очередь после того, как спустились к себе на этаж, в квартиру № 1, а там — врач из тех, наверное, что «убийцы в белых халатах», способный зарезать и обобрать до нитки.

Чтобы такого безобразия не допустить, требовалось позвать на выручку какого-то богатыря из отряда Ильи Муромца. Как раз сегодня столь могучий богатырь был у нас под боком. О нем дедушка Аврум говорил стихами: «Силач-Бамбула, поднял четыре стула, и пятую — кровать сумел-таки поднять».

Силача звали Григорий Новак. В прошлом он был чемпионом и многократным рекордсменом мира по штанге, ныне превратился в знаменитого артиста цирка. Он «сидел в гостях» у папиной сестры, тети Фани, в дальней комнате нашей «заводской жилплощади» и пил чай вприкуску с сахаром-рафинадом.

С Фаней прославленный тяжелоатлет был знаком по совместным выступлениям на манеже. Он — силовой жонглер, она — музыкальный эксцентрик. В ее номер зачастую подключались лилипуты с аккордеонами, скрипками и другими инструментами.

В дальнюю комнату, предупрежденный папой о феноменальном госте, я еще не наведывался: честно признаюсь, немного стеснялся. Правда, сейчас готов был сбегать за мускульной поддержкой, но...

Но на кого оставить папу, если врач и впрямь из когорты убийц? Мама в этом опасном случае с ним в одиночку не

справится — кликнет на помощь. Это, конечно, если у «белого халата» в голове «черные» мысли. Разберись-попробуй, глядя из неистраченной на пустяки детскости во взрослую жизнь.

Сидя на стуле у дивана, доктор прислушивался через стетоскоп к папиному дыханию и удовлетворенно кивал, будто ему прямо из живота докладывали: все в порядке, товарищ командир!

— У вас музыкальные легкие, — заметил он, бросив взгляд на рояль фирмы «Тресселт» с двойной медалью, приклеенной лицевой и обратной сторонами на внутренней части полированной крышки. На лицевой стороне был изображен император Александр Третий, на обратной выгравирована надпись русским буквами «За трудолюбие и искусство. 1883». — А знаете ли вы, — доверительно продолжил врач, видимо, для создания хорошего впечатления о себе, — что первый аналог стетоскопа представлял собой свернутые нотные листы?

— Догадываюсь, — сказал папа. — Вы тоже музыкант?

«Какой из него музыкант?» — подумалось мне, когда он больше похож неведомо на кого.

Доктора, по моим доморощенным представлениям, все как на подбор, женщины, в завивке и с покрашенными губами. А у этого — волосатые руки и густые усы, словно отращивал их специально «под Сталина». Я сунул руку в просторный карман брюк, сшитых бабушкой Идой на манер одесских клешей, и сжал рукоятку револьвера. В мякоть большого пальца впились выгравированные цифры 1917.

Ленька заговорщицки кивнул мне, давая «добро» на право первого выстрела по «врагу народа». А врач, поднявшись без натяжки со стула, подошел к роялю.

— Мне кажется, — сказал несколько растерянным голосом, будто внезапно вспомнил о чем-то позабытом, — что точно такой инструмент... интуитивно чувствую, этот... я видел здесь до войны. У моего пациента. Ну да, вот и подпись настройщика с той же датой — 1897. Вы не находите?

— Грузчики, что привезли рояль из комиссии, говорили то же самое. Второй раз, говорили, заносят его в нашу квартиру. Первый раз, так и сказали, до войны.

— О! До войны тут жил знаменитый рижский ювелир. Напротив, в доме, который сейчас «развалка», был его магазин. Дом разбомбили, а он... Знаете, тут мало кому удалось пережить войну, — протер ладонью пересохшие губы. — Разрешите? — спросил у папы.

— Да-да, пожалуйста, — сказала мама, опередив папу.

И, странное дело, врач действительно превратился в

музыканта. Причем не из филармонического оркестра на десять скрипок. В обычного, понятного мне эстрадника, подобного папе, когда он на подмостках сцены, а не у слесарного верстака.

И заиграл...

Это надо было послушать, если уши воском не залиты! Не симфония выкатилась из-под его пальцев наружу, а фрейлехс. «Семь сорок», упомянем по названию. Мне было ведомо от дедушки Аврума: эту музыку прозвали в честь железнодорожного праздника его единоверцев. Потому что «с одесского вокзала ровно об это время уходил поезд с евреями, утекающими в Палестину от советской власти».

Уходил или не уходил, за точность не ручаюсь, но врач из нашей квартиры уходил с таким выражением на усатой физиономии, словно имел билет именно на этот поезд. Да и папа с мамой, не покидая квартиры, держали на лицах похожее выражение.

Я посмотрел на Ленку, и он расплывается.

Побежал на кухню, чтобы у зеркального шкафчика, где папа бреется, полюбопытствовать на себя. Гляжу, и я смотрю, как подарочный «мишка на севере». Только тот мохнатый и бледный, а я гладкий и пунцовый.

Что же это за чародейство?

Не иначе, как мелодия «Семь сорок» имеет тайный пароль, а отзыв на него каждый носит внутри себя, даже о том не подозревая.

Может, так. Может, и не так. Но склоняюсь к мысли, что 1 марта 1953 года все было скорее «так», чем «не так».

Пояснить же, на правильном ли я пути со своими догадками или не совсем, мог, скорее всего, дядя Абраша — Ленкин отец.

По моим наблюдениям, он неплохо разбирался в музыке, и сам, время от времени выпивая рюмку водки, пел «Бродяга к Байкалу подходит». Но, в отличие от моего папы, на эстраде не выступал, потому что был не Карузо. Предпочитал работать за приличную зарплату начальником отдела снабжения Электромонтажного предприятия по строительству и ремонту кораблей.

Мы пошли на Калею, 7, поднялись по крутой лестнице и позвонили в дверь с цифрой 3. И на тебе, неожиданность: открыл нам отнюдь не Абраша — вовсе незнакомый, даже по старым семейным фотокарточкам, человек: серый плащ, серые глаза, серые руки. Его напарник, стоящий у окна, четко произнес, будто заодно и командир:

— Всех впускать, никого не выпускать!

Кого это — всех?

Меня и Ленку?

А кого не выпускать?

Опять-таки нас.

Скажите на милость, что это за идиотские распоряжения? И где? В квартире бабушки Иды и дедушки Аврума, дяди Абраши, Леньки и Гришки. Кто имеет право на дурацкие требования — «входить, не выходить»? Разве что Гришка. И то лишь на период самостоятельного мытья полов или, чтобы держать фасон, по праву старшинства. Все-таки родился в сорок первом, притом под бомбами, разрывающимися на улицах Одессы, что привносило в возрастной приоритет добавочную весомость.

Но Гришка нам ничего не приказывал. Он старательно прятал глаза, которые, как учили в школе, «зеркала души», от третьего мужика, одетого тоже в серый плащ. Этот «третий» усадил его на кровать с блестящими помпончиками из хромированной стали в изголовье и донимал какими-то глупыми вопросами.

— Куда пошел твой папа? Когда он вернется? А если не вернется в ближайший час, где он может находиться?

Назовите мне такого папу, кто станет докладывать своему ребенку, куда он пошел погулять, позвонить по телефону, либо отдохнуть за чашечкой кофе со сливками и рюмочкой армянского коньяка.

Почему-то бабушку Иду идиотскими вопросами не донимали, осознавали уцелевшим краешком мозга, что теще не сообщают о месте передислокации, в особенности если цель оной — посиделки в заведении со стойкой и официантками.

Гриша прятал глаза и говорил неправду:

— Я учил наизусть стихотворение «Скажи-ка, дядя, ведь недаром». И не заметил, когда папа ушел.

— А куда он пошел? Не сказал?

— Он не сказал. Но я думаю...

— Ну-ну, думай скорей.

Гриша посмотрел на нас. В его «зеркала души» мы прочитали: он опасается, что мы сорвемся на подсказку и скажем такое, отчего потом будет всем плохо.

Поэтому он подумал «скорей» и снова выложил на прилавок неправду, но с достойным настоящего артиста притворным умением. Как говорится, «выдал ее за чистую монету»:

— Папа пошел в кино.

— Конкретно?

— В «Айнушку». Смотреть «Максимку».

Мы с Ленькой «дико» переглянулись. Беспардонное вранье! Кто поверит, что Абраша в одиночку пойдет на «Максимку», когда обещал сводить на эту картину нас всех троих? Но странное дело, видимо, у недоумков и логика с недостатком здравого смысла.

Главный сыскарь поспешно отвернул рукав плаща, посмотрел на ручные часы:

— Сеанс не стоит на месте. По моим сведениям, минут через пятнадцать кончается. По коням!

Тут мне вспомнилось: кто из русских не любит быстрой езды? Правда, коней поблизости не было, и люди в плащах ускакали на своих двоих, разнося цокот подкованных копыт по лестницам. В нем слышалась угроза: «Всех впускать, никого не выпускать!» Что делать? Надо бы предупредить Ленькиного папу, чтобы не появлялся на улице Калею, 7, где прописан.

Наши страхи носились по воздуху, одаривая ознобом, и существуй телепатия, передались бы точно по назначению. Но как выяснилось потом, этого не требовалось: Абрашу предупредили заранее о возможном аресте. И не где-нибудь, а прямо на работе. В кабинете директора электромонтажного предприятия Миронова.

Каким образом? Элементарным! Иван Иванович вызвал его и сказал:

— На тебя настрочили «телегу».

— Кто?

— Думаю, и без меня догадываешься, кто метит на твоё место.

— Смарченко?

— Пострел везде поспел. Мне уже звонили из органов, чтобы я задержал тебя на работе. Они подъедут и... Но я сказал, что ты выправил командировку. Куда? В Питер, на судоремонтный. Это для них в Питер. А ты езжай, куда заблагорассудится. И никому не выкладывай координаты. Мне — ни Боже упаси! И своим близким тоже. Вот тебе открытое командировочное предписание, с печатью. Город впишешь самостоятельно. И сматывайся.

— На работе не взяли, так теперь придут домой. Есть соображения, когда?

— Сроки, сам понимаешь, у кого расписаны, — Миронов показал пальцем на потолок. — Сегодня вряд ли. Намерены навестить меня для выяснения вопроса о командировке. А завтра выходной. Глядишь, и не явятся.

Однако они явились в воскресенье, но могли взять под стражу разве что гудок паровоза. Ту-ту! Дядя Абраша ехал в купе, направляясь в Харьков. Пил горькое пиво «Сенчу» и думал, что тайну о внезапном отбытии «за кудыкину гору» доверил лишь одному человеку, правильному по всем показателям. Этим правильным человеком был двенадцатилетний сын его Гриша, не выдавший в первый день весеннего месяца марта сведения об исчезновении своего папы никому. Не только гэбистам, но и мне с

Ленькой, бабушке Иде с дедушкой Аврумом. Из-за боязни, что все мы невзначай проболтаемся.

Маме, полагаю, он рассказал бы. Но мамы у него не было. Она умерла в Риге в 1947 году, через восемь месяцев, как родила Леню. Предполагалось, что при родах ей занесли инфекцию, и почки отказали. Но доподлинно никто не знал, что к чему. Известно было, что дядя Абраша, проявив невероятную оперативность, «достал» с каких-то заоблачных высот чудодейственное средство — пенициллин, чрезвычайно редкое тогда лекарство. Но и это не привело к исцелению.

Впрочем, почему-то считалось, что она не совсем умерла. В живых ее нет — никто не спорит, но воспринимать присутствие Бебы на Калею, 7 мне изредка доводилось. Со мной, может быть, это происходило из-за того, что я, сидя на полу во второй — проходной — комнате, видел и запечатлел в себе лицо маминой сестры, лежащей в пору угасания на кровати, где впоследствии спала бабушка Ида. Мне было около двух лет от роду, но, должно быть, возраст не помеха для подсознания, которое и сегодня, стоит прикрыть веки, выводит из забвения туманный образ. Я вообще так с детства устроен, что подчас различаю нечто, что другие люди не способны узреть ни при каких обстоятельствах, сегодня сказали бы — «из мира непознанного».

Казалось бы, это невозможно. Но если подумать здраво, то... быстро придем к выводу: в мире все наоборот, чуть ли не со стопроцентным отличием от того, как нам представляется по наивности. И это мы постигаем с младенчества, иначе — при устойчивости зрелого мышления — сошли бы с ума.

Итак, начнем?

Начнем и двинемся вперед мелкими — под мальчишеский рост — шагами. Что впереди? Там, где земля смыкается с небом? Там конец света? О, нет! Отнюдь там не конец, там горизонт. О нем Михаил Светлов написал доходчивые для понимания ребенка стихи: «Горизонт отходит. Я за ним. Вот он за горой, а вот — за морем». Ну, ладно, горизонт отходит, но это ничего не меняет, земля-то плоская.

Здрасте вам!

Выясняется, вовсе нет. Шарообразная она, как футбольный мяч.

Ладно, шарообразная, зато солнце плоское, как блин, и вертится вокруг нас.

Ерунда! И тут обман зрения. Не солнце крутится вокруг нас, а мы вокруг него. Притом с ужасающей скоростью. Да, никакого неудобства не испытываем, находимся в так называемой реальности, визуально обманчивой: показывает не то, что

происходит по-настоящему.

Чем не сказка?

А если сказка, то вполне вероятно, что и смерти нет, а есть просто другая форма жизни, и увидеть ее иногда удастся, замурив накрепко глаза — до появления радужных пятен. Тоже ведь парадокс: глаза закрыты, словно во сне, а видишь. Иногда и тех, кого вживую уже не встретишь никогда. Почему так получается — никто не знает. А в детстве, пусть и не знают, зато охотно догадываются.

В жизни все наоборот, догадываются по малолетству, не так, как представляется воочию. Вот пришли люди в серых плащах арестовать дядю Абрашу. За что? Вслух ничего не сказали. Значит, не за что!

И после этого мы поверим, будто он «плохой»?

Ни после этого, ни перед этим — никогда!

А почему?

Потому что он «хороший». И это сто раз проверено.

Или другой случай. С моим папой Ароном.

Он лежит дома больной, а на родном с военного лихолетья 85-м заводе ГВФ, с тех пор, когда он дислоцировался на Урале, объявили: он «вредитель» — авиационные баки, выпускаемые его бригадой, якобы текут.

Вранье беспардонное!

Раньше не текли, и сейчас не текут!

Папа ИМ это уже один раз доказал. Поднялся с постели вместе с температурой и пошел на завод, кашляя себе на грудь, чтобы никого не заразить через воздух.

Во втором цехе, где БЕЗ НЕГО, сидящего на бюллетене, паяла баки бригада жестянщиков, он под присмотром ОТК и начальника цеха Шапиро организовал проверку на герметичность продукции «высшего качества», как она называлась прежде — до подлого оговора. Взял бак, опустил его в ванну с водой и начал заговаривать по-одесски зубы сотруднику отдела технического контроля и начальнику цеха Шапиро. Рассмешил этих нервных людей, посматривающих мимо его близоруких глаз в края белых медведей, куда присутствующий тут же в качестве третьей стороны Особый представитель Органов из коренных рижан обещал загнать каждого, кто попадет под подозрение. И во всем соглашались с моим папой.

— Да, этот бак течет, — сказал папа-одессит, переводя внимание с металлической посуды, погруженной в ванну, на себя.

И все с облегчением вздохнули. Теперь никто не виноват: человек сам признался, и, значит, пришла пора судить его за

вредительство, несмотря на то, что навредил он родному заводу без выхода на работу, а в кровати с градусником под мышкой, будучи сам горячим, как паяльник.

— А вот этот бак не течет. Смотрите — не ошибитесь.

— Этот не течет, — согласилась проверяющая команда, в уме выписывая моему папе подконвойную командировку на Колыму. — Но достаточно и того, что первый потек.

И тут папа взорвался:

— Это — тот самый бак. Первый! И он не течет! Ни один бак, запаянный моей бригадой в мое отсутствие, НЕ ТЕЧЕТ! Никто у меня не работает спустя рукава! Покажите мне пальцем того, кто напрашивается в тюрьму, выпуская бракованную продукцию. Нет таких, и я не такой!

Вот так раз! Он заявил — «нет таких, и я не такой!» — как будто от него лично зависла судьба, и ушел домой, пошатываясь от слабости. Отныне папе предстояло справляться сразу с двумя болезнями — с воспалением легких и с опасениями за судьбу всей семьи: как бы заодно с ним не заслали к белым медведям и всех остальных.

Мама его утешала, говоря: «Не кушай свою нервную систему! Посмотри на себя в зеркало и увидишь: пора перейти на идиотическое питание для поправки здоровья, как доктор приписал. А ОНИ... ИМ глаза следует промыть ромашковой водой с марганцовкой, чтобы вылечить от куриной слепоты. ОНИ, эти местные «органы», — добавила мама, — нас всех будут подозревать. Разве не понятно? Они из Риги, а мы приехали с Урала — будто с того света свалились ИМ на голову, заняли ИХ рижскую жилплощадь».

Но нет, думал я, тишком слушая увещевание мамы, у НИХ глаза — не «зеркала души», а промокашки в чернильных пятнах. ОНИ приглядели в папе «вредителя» — потому что он с Урала; в дяде Абраше какого-то «плохого» человека — потому что он с Урала. А чем это кончается — вслух не скажут. Но и не надо! Это и без НИХ лучше всего известно дедушке Авруму.

В сороковом году, еще в Одессе, откуда родом, как и все прочие мои взрослые родственники, он тоже попал во «вредители», хотя ничего и никому навредить не пытался, охраняя по ночам женскую баню, а днем продавая на Толчке сапоги. Но это никого из «бдительных органов» не смущало: «вредитель»! И давай-меняй прописку у самого синего моря на уральскую, лагерную, в бараке заснеженного Соликамска, где ему, инвалиду Первой мировой войны с простреленной в локте рукой, покалечили на лесоповале и ногу, «грамотно» обрушив подрубленное дерево, чтобы хромал до самой смерти.

Дедушку Аврума мы любили, папу Арона мы любили, дядю Абрашу мы любили. И были убеждены: сколько ни смотри на них, хоть в телескоп, ничего зазорного не заметишь.

Что же получается? Не верить собственному зрению?

В отношении Земли, что она шарообразная, но не плоская — пожалуйста. Доверимся учителям — поверим.

В отношении того, что не Солнце ходит вокруг нас, а Земля вокруг Солнца, опять пожалуйста — доверимся: наша наука самая передовая!

А в отношении того, что наш дедушка Аврум, мой папа Арон, Ленькин папа Абраша — люди «плохие», это, извините — подвиньтесь, собачья брехня!!! Одного восклицательного знака недостаточно, поставим три.

Но недаром говорят: «собака лает, ветер носит». Вспомнив про ходовое присловье, мы испугались за дедушку Аврума. И чтобы ветер не обогнал нас, побежали к нему с сообщением, что на Калею, 7 приходили серые плащи за дядей Абрашей, но при всем старании не превратили его для нас в «подозрительный элемент». И теперь караулят у кинотеатра «Айна», куда он, по словам Гриши, пошел посмотреть «Максимку».

На полпути к дедушке мы остановились. Автор «Конька-горбунка» сказочник Ершов написал бы — «как вкопанные». Остановились потому, что вспомнили: фильм, по оценке серых плащей, уже заканчивается, и дедушка, с какой бы сноровкой ни хромал, не поспеет на подмогу к дяде Абраше. Оставалось... Да, оставалось рвать на груди тельняшку, словно «мы из Кронштадта», и идти в последний решительный бой.

Тельняшки у нас даже одной на двоих не было, но пистолет с боевыми патронами имелся, и решительности, как у заводной игрушки, хватало. К тому же по песне выходило: «помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». А когда смерти не предвидится, то и на подвиги идти гораздо легче. Ать-два, и вперед, изменив направление у часов «Лайма» в обратную сторону — в сквер и в киношку.

Поспели — не запозднились.

Люди повалили из кинозала, не толкаются, как на базаре, обмениваются впечатлениями. Мы уши наострили. Конечно, хочется узнать: действительно ли кинчик мировой.

Судя по всему, мировой.

Вот бы посмотреть!

Но, скорей всего, не придется мне с Ленькой сходить на этот фильм, прямая дорога у нас теперь, после выстрела по серым плащам, в детскую колонию. А там если что и показывают, то про Макаренко: о перевоспитании малолетних уголовных элементов

путем обучения их производству фотоаппарата ФЭД, названного в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского, с кем в разведку, даже захоти, не пойдешь, поскольку он уже досрочно умер.

Пистолет в кармане пальто грел мне рукояткой руку и смотрел, не отрываясь, своим вороньим оком в серый плащ, на уровне мягкого места его хозяина.

Наши враги ждали выхода дяди Абраши из кинозала.

Мы тоже ждали выхода дяди Абраши из кинозала.

А пуля в стволе найденного на чердаке револьвера ждала приказа на проникновение в откормленные филейные части дознащика.

Думалось, еще минута-другая, и каждый «своего» дождется.

Но...

На наше счастье мы не попали в детскую колонию. Стрелять не пришлось. Дядя Абраша так и не появился, будто и в кино не ходил.

Серые плащи переглянулись, сказали какие-то неприличные слова о Грише, обманувшем их филерские ожидания, и пошли — нет, не на Калею, 7, а поближе, через улицу, в заведение, где льют в стеклянную кружку пиво из бочки и водку из четвертинки. По дороге переговаривались на тему, доступную разумению даже школьников младших классов 1953 года: мол, подозреваемый во вредительстве — и он «во вредительстве!» — скорей всего, пошел на следующий сеанс, начинающийся через две минуты.

Совсем оборзели!

Дядя Абраша не мог пойти на следующий сеанс и при большом желании посмотреть в одиночку «Максимку». В это время бабушка Ида ждала его к обеду. Припозднится — любимые им фасолы остынут, и фаршированная рыба зачерствеет. А ведь она в свежем для аппетитного кушанья, разумеется, состоянии, подобно прирученной Емелей щуке, имела волшебное свойство угадать, почему его взяли на подозрение.

Почему?

Попробую передать на словах рыбью версию.

Эта история началась на октябрьские праздники. Дядя Абраша взял меня с Ленкой на прогулку — с последующими угощениями. Но по дороге в кафе мы заскочили на его работу — улица Смильшу, контора Электромонтажного предприятия № 7. На втором этаже, у окна с выбеленным подоконником, он нас оставил и пошел получать то ли аванс, то ли получку, то ли еще что-то приятное, вроде премии, на которую в кафе накупит нам вкусоности.

Та дверь, куда он вошел, открывалась и закрывалась, пропуская людей. Все остальные, под нашим приглядом,

опечатавались. Очень дивно. Не сургучными печатями, а пластилиновыми.

Это был небывалый соблазн.

Понятно, мы не выдержали, и своими вездесущими пальчиками стибрили по уходу «печатников» немного этого пригодного для лепки дефицита. Не догадывались по недомыслию, что в данный исторический момент тотального закрытия военного предприятия на праздничную двухдневку наковыряли «материал стратегического назначения».

Мы не попались на преступлении. Лучше бы попались! Тогда сразу бы все разъяснилось. А так, без понятия действительности, сыграли тревогу, вызвали каких-то шерлокхолмсов в погонах, с собакой и лупой для разглядывания наших «преступных отпечатков»!

Наконец, разобрались: дети набедокурили.

Потом разобрались, чьи дети.

Потом сказали дяде Абраше, чтобы он больше не приводил нас на производственный объект. И все, казалось бы, утихло. Но какой-то подлец, желая занять должность дяди Абраши, написал, что это была не мальчишеская шалость, а сознательное вредительство взрослого человека, который должен своим поведением подавать пример юному поколению, делающему жизнь по рекомендации поэта Маяковского с товарища Держжинского. И приписал в своем доносе дяде Абраше массу самых актуальных из «вредительских» мыслей и высказываний, сверяясь с газетой «Правда».

Такова рыбья версия. А что и как было по-настоящему — это уже не нашего ума дело, слишком малы, чтобы ходить вровень с эпохой стукачей и карателей.

Мы проследили за дознанщиками, пока им не налили до краев. И поняли: теперь эти мужики, не забывающие и на службе о потребностях организма, нас никогда не обгонят. Даже если вознамерятся не дожидаться конца следующего киносенсация, а двинут к дедушке Авруму, сидящему со щетками и ваксой в будке чистильщика обуви на краю Кировского парка, в пяти шагах от рижского «Бродвея», под неременной охраной старшины милицейских войск Жоры-дегустатора.

В жизни дедушки как-то так вытанцовывало, что его всегда держали под охраной, будто он золотой запас. В досоветскую пору торговли сапогами на Толчке, его охранял, за наличные, разумеется, околоточный, а при новой власти — участковый. В лагере — вертухай, но они работали бесплатно, во всяком случае, дедушка им не платил. Хотя... платил, по его выражению, «кровью и нервной системой». Когда же, в разгар войны, нервы

совсем расшатались и хотелось скорей погибнуть с оружием в руках, чем окоченеть от уральского холода без всякой пользы для победы, он попросился добровольцем на фронт.

— Чем такая жизнь, лучше отдать ее за товарища Сталина, чтобы у фашистов темно в глазах стало и все кишки из живота вылезли наружу, — написал дед в заявлении, как умел — по-одесски, но правильными русскими буквами, и был направлен на медицинское освидетельствование нержавеющей якобы здоровья.

Но здоровье было еще то...

Профессиональные врачи не имели медицинского права, согласно клятве Гиппократу, уважить желание инвалида Первой мировой отдать жизнь на Второй мировой. Рука прострелена, нога перебита. Однако упоминание имени Сталина в заявлении гипнотически подействовало на медкомиссию и старого солдата отправили не обратно в лагерь, а в Оренбург, тогда Чкалов, в подразделение ВОХРа авиационного завода № 245. Именно туда, где работали в бригаде жестянщиков моего папы его дочери Беба и Рива, моя мама. Работали, работали до посинения, а потом, по окончании войны, не позволив вернуться в Одессу, отправили их эшелонам в Ригу. Вместе с заводом, переименовав его по пути в № 85 ГВФ. Дирекцию и цеха разместили на улице Анри Барбюса, 9; моих родителей на Аудею, 10; Ленькиных — Бебу и Абрашу — на Калею, 7, и стали их портреты вывешивать на Доске почета: мол, передовики производства.

Но зимой с 1952 на 1953 все изменилось, и началось: «космополиты», «вредители», хоть на улицу не показывайся. А как не показываться, когда половина жизни проходит на улице?

Вот и сейчас — где мы? На улице. И серые дознашники хоть в кафе-пивнушке, но тоже на улице. И пешеходы, пусть их мысли дома, у теплой плиты, тоже на улице. Шлепают-шлепают по сырому асфальту, посматривают на почернелые сугробы у кромки тротуара, и никто не улыбается.

Кстати, чтобы не забыть: это я еще 13 января подметил, как появилась в газете «Правда» статья про «убийц в белых халатах». Люди на улицах перестали улыбаться, бродят хмурые, подозрительно смотрят в глаза мимохожим: не врачи ли? Смотрят, смотрят, будто все превратились в серых, подобных тем дознашникам, что ищут — не отыщут дядю Абрашу.

Вот бы их самих арестовать, чтобы неповадно было на людей охотиться!

Но как их арестуешь, по какой причине?

Впрочем, помнится, Жора-дегустатор, который «товарищ старшина», говорил дедушке Авруму по этому поводу так: «Был бы человек, а причина найдется. Какая самая подходящая? Такая,

что работает без осечки — драка».

Что ж, остается организовать драку. Но не мне ведь кидаться с кулаками против серых плащей. И не Ленке.

Можно, конечно, организовать драку между мной и Ленкой, это, кажется, называется «междоусобица». Но толку от подобного мордобития — с голубиный клювик, что меньше мизинца. Нас самих и загребут в милицию.

Нужно привлечь кого-то позначительней и с мускулами, да еще имеющего опыт в подобного рода выяснении отношений, когда «раззудись плечо, размахнись рука» и зубы сыплются на простор родины чудесной.

Кого же пригласить? И вдруг вспомнилось: папа рассказывал, что Григорий Новак — невероятный «силач-Бамбула», по уважительному отзыву дедушки Аврума — был еще тот кулачный боец. В привокзальном ресторане Ростова на-Дону он в одиночку разнес вдребезги целую шарагу хулиганов, обозвавших его нехорошим для еврея словом — «жид». За это рукоприкладство «отбойных молотков», имеющее тяжелое последствие для внешнего вида антисемитов-обидчиков, его лишили звания «заслуженный мастер спорта» и не позволили больше защищать честь Советского Союза на помосте. Словом, отправили в цирковые артисты, чтобы он, наконец, познакомился с моей тетей Фаней, у которой как раз сейчас в дальней комнате нашей квартиры сидит в гостях и пьет чай вприкуску с сахаром.

Вот бы кого на подмогу!

Однако возглас души угас в ней же, когда я заглянул в комнату тети Фани на предмет шапочного знакомства с чемпионом мира.

— У нас есть до вас деловое предложение, — сказал я на скоростях, чтобы не забыть заготовленную фразу, и споткнулся о дальнейшие слова.

Перед нами за столом сидел не могучий богатырь, как представлялось в уме. А человек, с виду очень тучный, но маленького роста, объемом — что в ширину, что в высоту. Он пил чай вприкуску с сахаром — это точно. На нем был просторный, светлый по окраске костюм — и это точно. Но могучую силу я в нем не разглядел.

— Здравсте, товарищ дядя Гриша Новак! Я хочу с вами познакомиться! — произнес я спонтанную фразу, робея и переминаясь с ноги на ногу.

— Приходите на манеж, когда я буду выступать, там и познакомимся поближе. А пока познакомьтесь с этими конфетами, — и угостил нас «мишкой на севере».

«Там, значит, там», — подумали мы в унисон и ретировались

восвояси.

Нам было немножко не по себе: как это такой грузный человек может быть Григорием Новаком? Где это видано, чтобы он в одиночку размордовал ватагу хулиганов? Куда ему против серых плащей? Не справится с поставленной задачей!

Ох, как мы ошибались! Это стало ясно много позже, когда увидели его на арене, отнюдь уже не в костюме с галстуком, а в спортивном трико. Но это было впоследствии. А сейчас? Сейчас необходимо было действовать безотлагательно, чтобы организовать драку в кафе-пивнушке напротив кинотеатра «Айна».

«Голь на выдумки хитра», — помнили мы наизусть присловье из советской литературы для малоразвитых сорванцов.

Нас называли «перекатиполе», так что мы подходили под понятие «голь». К тому же мы были горазды на разные выдумки. Хитрости, может, у нас и не имелось в запасе, но при наличии ума несложно обрести и ее.

И обрели, вспомнив, что требуется «пораскинуть мозгами» при желании кого-то оштрафовать, вернее, прицепиться за сущий пустяк, скажем, за переход улицы в непопленном месте, как будто здесь Нью-Йорк и машины носятся как угорелые.

С мозгами у нас полный порядок. У меня два полушария в голове, и у Ленки не меньше — просвечивай хоть рентгеном. Если пораскинуть ими, получается на выходе математического расчета — четыре. В переводе на нормальный язык: мозговых извилин на полкилометра — ровно столько, сколько до будки дедушки Аврума, где чуть ли не днюет и ночует дядя Жора-милиционер.

Пешодралом туда минут тридцать, а бежать — так дорога становится в три раза короче, конечно, не в длину, а по времени.

Помчались — не угонишься!

Мимо часов «Лайма», где свиданку назначают влюбленные в девушек парни.

Мимо городского канальчика, где ловится всего лишь казарага-колючка.

Вдоль по улице Ленина, прежде — Свободы, оставляя сбоку так и не переименованный на советский лад памятник Свободы («Милды»).

Мимо Верманского парка, названного после победы Кировским.

Мимо, мимо, мимо. Как пуля, летящая мимо всего, что остается в стороне от цели. И с размаху угодили прямо в мишень. Но в будку чистильщика обуви не заскочили, ибо оттуда стремительно вымахнул как ошпаренный здоровенный мужик с

перемазанной черным сапожным кремом мордой. А следом за ним дедушка. Здоровой — не хромой ногой — он поддал своему визави под зад, да притом с такой копытной мощью в одну либо две лошадиные силы, что того выбросило по инерции на проезжую часть улицы Кирова — в неположенном для пешехода месте. И тут же послышался предупредительный милицейский свисток и строгий окрик старшины Жоры:

— Стой! Куда тебя понесло?

— Я... я...

— Ты! Ты! Нарушаете, гражданин. Здесь не переходной участок дороги.

— Я не самостоятельно. Меня толкнули.

Жора-дегустатор, который обходил чистильщиков обуви на предмет проверки качества ваксы и сапожных щеток, приблизился к нарушителю и сделал вид, что понюхал возле гневной его физиономии воздух.

— Пахнете, гражданин, несъедобным запахом. Водочка?

— Ну...

— Четвертинка?

— Мерзавчик.

— Не будем гадать на кофейной гуще. И в прицепе к водочке два пива?

— Воскресенье же сегодня, командир. Разве не заметили, выходной?

— Для кого выходной, гражданин, а для обслуживающего персонала вполне рабочий день. Правильно я говорю, если пораскинуть мозгами? — повернулся к дедушке Авруму.

— Совершенно точно. Настолько правильно и верно, что я пошел бы с вами в разведку, — кивнул дедушка Аврум, делая в словесном выступлении нажим на личное местоимение «вы» — в знак уважения к мундиру и чтобы нарушитель спокойствия не догадался о приятельских его отношениях с представителем власти.

— В разведку в следующий раз, — облизнулся Жора-дегустатор, но относительно неприметно, чтобы источаемым душком вишневки не повлиять на ход мыслей любителя выпить. — А сейчас доложите, почему у гражданина — мы еще посмотрим его паспорт! — ваксой измазюкина рожа? Не заплатил за обслуживание?

— И оскорбил нехорошими словами.

— Какими? Нецензурными?

Дедушка посмотрел на нас, догадывающихся, какими примерно словами оскорбил его мужик, побитый по мордасям сапожной щеткой.

— Цензурными. Но не подходящими для дружеского общения. За какие по морде бьют, когда нет ножниц, чтобы отрезать язык.

— И штрафуют?

— Штрафуют за переход улицы не по правилам. А за то, что он сказал цензурными словами, бьют по морде.

— Но вы его не били?

— Нет, я уже старый. Я попросил его выйти по-хорошему и чтобы он больше не говорил: «Жалко, что Гитлер вас всех не дорезал!»

— А он?

— Он как сумасшедший побежал от моей просьбы через дорогу, нарываясь на штраф.

— Значит?

И этот ненормальный, решивший за бесплатно выглядеть король королем в начищенных туфлях, выложил, точно миленький, дяде Жоре-милиционеру наличные. И пошел умываться в баню, куда его послал дедушка Аврум.

Для справки: бани тоже работали в воскресенье, как и чистильщики обуви. И милиционеры работали тоже, когда не отдыхали. А отдыхали они обычно после работы. И в этом мы убедились воочию, видя, что, отработав со штрафом, Жора-дегустатор пошел отдыхать. С этой целью запихнулся в будку, сел в кресло клиента, поставил ноги на колодку, будто вознамерился навести марафет с глянцем на свои сапоги. Но на самом деле мысли его были далеки от сапог, а витали вблизи от булькающего горлышка литровой бутылки с самодельной вишнежкой.

Дедушка Аврум налил своему спасителю стаканчик, налил себе, сказал «лехаим», и они синхронно выпили за один прием то количество настойки, что мы с Ленкой цедили бы по каплям часа два.

— Хорошо пошла, если пораскинуть мозгами.

Дедушка Аврум «пораскинул мозгами» и налил еще. И Жоре налил, и себе. А нам не налил, хотя видел, что и мы облизываемся липкими языками, как давеча его собутыльник. Но облизывались мы не из-за вишнежки, а для привлечения внимания, чтобы выманить его на тротуар и намекнуть, что из Органов приходили за Абрашей.

Однако в присутствии милиционера не намекнешь. В присутствии милиционера лучше на эти темы помалкивать.

Дедушка был не телепат: о наших тайных мыслях не догадывался. Он совсем по-иному воспринял наши желания, дал рубль на двоих и сказал:

— Имейте удовольствие сбегать на уголок, к газировщице

Дорочке. И скажите ей на милость: «сироп на два толстых пальца».

Кто откажется? Сбегали с удовольствием. Выпили — с еще бóльшим. И вернулись с наполненным под завязку пузиком сладкой шипучки. Пузырьки от медовой жидкости поднимались из глубин живота наверх и, лопааясь в горле, пьянили без всякого алкоголя мозги, которыми необходимо, по совету старшины, пораскинуть, чтобы принять верное решение.

Мы и приняли «верное» решение.

Какое?

Само собой, необдуманное, что и происходит под хмельком даже у башковитых людей.

— Дядя милиционер, — начал я. — Что вы скажете, если обнаружите сегодня в центре города стреляный патрон?

Жора-дегустатор, за неимением лупы, верной спутницы другого сыщика — Пинкертон, посмотрел на меня с детективным интересом сквозь пустой стакан.

— Я скажу: «произошло преступление». В особь, если на расстоянии пистолетного выстрела заодно с гильзой отыщется бездыханный труп.

— А какое это расстояние?

— От нуля до пятидесяти метров.

— На этом расстоянии... — замялся я.

— Ага, — смешком отозвался Жора. — Труп своевременно убрали.

— Трупы мы не видели.

— Показывай, что видели.

— Не видели, а нашли. Возле «Айнушки». В кафеюшке. Вот! — протянул я на раскрытой ладони патрон от «революционного» револьвера 1917 года рождения. — Валялся у чужих ног. Видимо, случайно выпал из кармана, когда дядя расплачивался за пиво.

— О, да ты — пацан дедуктивного мышления.

— А то!

— Улика — первый сорт. Давай-ка сюда.

Жора-дегустатор, умеющий оценивать качество алкогольных напитков на вкус, оказывается, и на нюх был не слабоват. Принюхался к патрону, покачал головой. И к нашему дедушке:

— Гляди ты, Аврум! Твои хлопцы — без изъяна. Глаз — алмаз, в мозгах — простор. Гильза не просто стреляная, а только-только.

— Он говорит «только-только», — ответил дедушка, осторожно принимая в два пальца патрон и тоже его обнюхивая. — Это не «только — только», а тютелька в тютельку

по расписанию налетчиков Мишки Япончика, что имел удовольствие гулять у меня на свадьбе. Пару часов туда, пару часов обратно. Я настрелялся так по молодости лет, что на всю жизнь эту арифметику запомнил.

— Положим, Аврум, я тоже стрелял. Но не будем спорить — кто больше. Лучше помозгуем, есть тут дело или оно выеденного яйца не стоит.

— Он говорит про яйцо, как будто уже на базаре. Агройсе петух! Надо проверить, было убийство об это время по нашему адресу? — повернул лицо ко мне. — В центре города?

— Так точно! — выдал я по-военному, как из книжки Валентина Катаева про сына полка.

— Он говорит «в центре города». А я спрашиваю у представителя закона, — дедушка вернул патрон милиционеру, — было у нас сегодня — пару часов туда, пару часов обратно — убийство посреди мирного города? В Одессе, имею сказать, я услышал бы об этом заранее. А здесь... все не как у людей. Или есть доступные слухи, что ходят по вашему ведомству на этой почве?

— Ночью было покушение на жизнь. Но это не для широкого оповещения.

— Я в газету не пишу. А знаешь, товарищ Жора, может быть, по старости лет мой аидыше нос уже не угадывает по части времени на все их сто процентов. Да и твой шнацер — не сочти за грубость — тоже поизношенный инструмент, все-таки чаще пороха нюхал другие настойки.

— Что ты предлагаешь, Аврум?

— Сходить своими ногами до центра города и посмотреть, что увидели мои байстрюки. Их глазами видится одно, чаще — эскимо на палочке, за девяносто пять копеек, твоими — другое, иногда даже орден.

— Понятно, следственный эксперимент...

— Назови это, как тебе будет удобно. Но глаза архаровцам не мозоль, чтобы воровским взглядом не приметили в тебе признаков облавы. И пусть мои хулиганы изобразят для блезиру из себя твоих шейгицев.

— Моих пацанов? — усмехнулся Жора-дегустатор, в охотку принимая, что во имя поимки преступников придется угостить нас мороженым.

И угостил — не пожадничал.

Двинулись мы, как будто на семейную прогулку, прямиком к кинотеатру «Айна», и без проигрыша хоть на минуту поспели к окончанию сеанса.

Народ повалил из выходных ворот, а серые плащи напротив,

на широкой заасфальтированной площадке, облюбованной таксомоторами, высматривали из толпы Абрашу.

Высматривали-высматривали, не обращая внимания на Жору-милиционера, который приблизился к ним с явным желанием проверить документы и заодно задать несколько наводящих вопросов, если засомневается в их личности. А засомневаться он имел полное основание после наших утверждений, что стреляный патрон выпал из правого кармана крайнего слева плаща, когда тот расплачивался с официанткой.

Словом, старшина:

— Ваши документы!

Серые плащи:

— Не мешайте! Отойдите в сторону!

— Это кому «в сторону»?

— Это вам «в сторону»!

— А не хотите ли пройтись?

— Это вы пройдитесь до ближайшего вырезвительного пункта.

— Ах, так! Если пораскинуть мозгами, это называется «оскорбление при исполнении».

Трель милицейского свистка вызвала дополнительные синие мундиры. И пошло-поехало! Выяснение отношений, лучше не бывает!

— А ну пройдемте!

— Да катитесь вы к черту!

Выяснение отношений — это известно каждому — при любом обмене «комплиментами» зачастую затягивается на непредвиденный срок. И, самое главное, мешает слежке. То да се, «руки за спину!», «паспорт наружу!», а походная колонна зрителей, вышедших из кинозала, между тем рассосалась, и дознанщики остались на бобах, не выцелив при всем старании «недремлющего ока» дядю Абрашу.

Его появление, кстати, там и не предвиделось, как стало известно после раскрытия Гришиного «секрета».

Но в тот момент мы этого не знали. И были чрезвычайно обеспокоены сложившейся обстановкой. Что с дядей Абрашей? Почему не появляется? Заснул там или, прослышав о филерах, спрятался? Не станешь же кричать: «Ау!» Не в лесу, и подслушивающего персонала в штатском выше головы. Это я не о росте говорю, а о количестве. Хотя — честно признаюсь — упоминание о росте вывело меня на спасительную идею.

По размеру я был мальчик с пальчик, Ленька тоже не великан, а это в безвыходной ситуации, но в присутствии сестрицы Находчивости и ее неотлучной подружки Наглости,

позволяло проскочить на сеанс «зайцем», приклеившись вплотную к солидному пальто с роговыми очками на крупном носу и с каракулевым пирожком на макушке.

— А ты куда? — настороженно спрашивала тетка-контролерша.

— Я с дядей Ваней, — отвечал я решительно, протягивая ладошку к руке с двумя билетами в ложу.

Какую-то секунду солидное пальто с роговыми очками на крупном носу смотрит на меня сверху вниз, «угадывая» мою просьбу: «Дяденька, проведи! Что вам стоит?»

— Он со мной, — говорит с «надежным» латышским акцентом, чтобы пусть незначительно, всего на рубль с полтиной, но все-таки наказать советскую власть.

— А он? — контролерша указала подбородком на Ленку, топчущегося рядом со мной.

— Он?

— Тоже не беспризорник. Он со мной, — сказала с тем же акцентом его спутница в шубке, бурках и шляпке с вуалью, будто она с киноафиши тридцатых годов.

Притворство удалось. Мы оказались в фойе, где прямо на стене — плакаты о досрочном выполнении пятилетки, а слева у коридорчика в туалет — буфетная стойка с пирожными, соками, шоколадными конфетами «Прозит» с ликерной начинкой. Пару минут на ориентировку, и давай просверливай все доступное обозрению пространство.

Поиски ни к чему не привели. Ни в одном укромном местечке — а мы в «Айнушке» все их выискивали без ошибки — дядю Абрашу не обнаружили.

Не было его и в кинозале, куда мы кинулись самыми первыми.

Что оставалось?

Осуществить мечту детства и посмотреть на халяву мировой фильм про Максимку, снятый, как нам разъяснял большой книгочей Гришка, по мотивам «Морских рассказов» Станюковича. Согласитесь, не каждому пацану выпадает счастье — осуществить мечту детства. А нам... Эх, жизнь копейка — медный грош, дальше смерти не уйдешь. И нам не выпало.

Нет, нас не погнали из зрительского зала, не выставили под видом злостных безбилетников на улицу, под морозящий дождь. Нет! Все произошло по-иному, и настолько странно, что никто не пикнул, не проявил недовольство, не поднялся с места, чтобы пойти подышать свежим воздухом.

Что же произошло, когда мы с Ленкой устроились на откидных сиденьях и затаив дыхание приготовились следить за

приключениями малыша-негритенка на русском парусном судне? Произошло то, что никогда на моей памяти не случилось в кинотеатре «Айна» — ни до 1953 года, ни позже.

Три ступеньки наверх, и на эстраду, к экрану поближе, поднялся человек в сером плаще, как у известных нам дознальщиков, и серым голосом провозгласил: поступило указание заменить показ развлекательного фильма на более серьезный, отвечающий ответственному моменту современности. Вместо «Максимки» нам за те же деньги продемонстрируют исторический фильм «Падение Берлина», знаменующий выдающуюся роль товарища Сталина в победе над немецко-фашистскими оккупантами. Кого такой вариант не устраивает, тот имеет безотлагательную возможность сдать за наличные билеты в кассу.

Думаете, кто-то клюнул на предложение о «безотлагательной возможности»? И не думайте!

А просто откройте календарь и посмотрите, что произошло 1 марта 1953 года. По официальным сообщениям — вечером. Но кто им верит, официальным?

Впрочем, если календаря под рукой не наблюдается, я его заменю и скажу: в первый весенний день Сталина хватил удар, с кровоизлиянием в мозг, о чем в газете «Правда» и по радио оповестили народ лишь 4 марта, за день до смерти.

Но что поразительно, распоряжение о смене кинорепертуара пришло в Ригу еще до того, как парализованного Сталина обнаружили лежащим на полу.

Как такое произошло?

Какие тайны скрываются за этим?

Кто знает, того уже нет.

А кто не знает, тому пребывать в неведении.

День второй

Понедельник, 9 марта 1953 года

Моя тетя Фаня была известная артистка цирка — «человек-оркестр». Она редко бывала дома в Риге, на Аудею, 10. Но каждое ее возвращение с гастролей таило в себе какую-то неожиданность. В начале марта 1953 года она привезла с собой целую компанию лилипутов, работавших в ее музыкальном номере.

Я уже «подпольно» курил, сам ходил за покупками. И считал себя вполне взрослым человеком, разве что малость не вышедшим ростом. Как-никак «кровный брат Победы», родился вместе с ней весной 1945 года, причем в день и час начала наступления на Берлин — 16 апреля в 4 часа утра.

2

Народ плакал.

Бабушка Сойба, мама моего папы Арона, причитала:

— На кого ты нас оставил? Вся твоя милиха — штинкер, курва, гонев. Лишь бы не было погрома!

Я сидел с бабушкой Сойбой у радиоприемника, слушал траурную музыку. И в уме расшифровывал сказанное: милиха — власть, штинкер — вонючка, он же стукач, гонев — вор. А что такое курва? Но спросить у бабушки не решался. Вдруг — слово неприличное, какое детям знать не положено? И получится, что я подслушиваю. А я не подслушиваю. Я сопереживаю: лишь бы не было погрома!

Между бабушкой и мной еще тот разрыв во времени, в семьдесят пять лет. Она родилась в 1870-м, через девять лет после отмены крепостного рабства в России, я в 1945-м, в год Победы над фашистами. Ее представления о погроме почерпнуты из личного опыта. Мои? Я даже книжек о погроме не читал, их не держали на полках ни в одной библиотеке. Но визуально эта стихийная неприятность представлялась в виде наблюдаемой из окна развалки — разрушенного трехэтажного дома, прежде ювелирного магазина. Не иначе, как на войне и произошел с ним форменный погром. Прямое попадание бомбы, и здание рассыпалось до основания, оставив в целости, но без перил, лестничный пролет на второй этаж. В потайных закромах, однако, под цементной пылью и наносной землей, сохранило оно драгоценные искорки «буржуазного счастья» — фиолетовые

бисеринки, янтарные бусы, разноцветные камешки и всякое прочее, чему названия в мозговых клетках не отыщется и под микроскопом.

Названия нет, а голова на плечах есть. Как же поступить с головой в «энтот разе»? Заставить ее думать, что предпринять! Народ плачет, бабушка причитает, а кому-то и думать надо.

Я давно заметил: когда настойчиво думаешь, в мозгах появляются посторонние мысли. И вместо того, о чем полагается размышлять, вырисовывается совершенно иной мир. Вот и сейчас. Почему-то вспомнилось: бабушка Сойба появилась на этом свете раньше товарища Сталина на те же девять лет, на которые она сама родилась после крепостного рабства. Иосиф Виссарионович в 1879-м, она в 1870-м, в один год со своим будущим мужем Фроимом. С ним познакомилась у колодца, как Ревекка, предназначенная небом в жены Исааку.

Но тут небольшое отличие по сравнению с нашими древними предками.

У дедушки с бабушкой любовная история разворачивалась не совсем по библейскому сюжету. В Библии пишется, что Ревекка напоила водой у колодца слугу Елиезера, посланного Авраамом — отцом Исаака — отыскать подходящую невесту сыну среди родни в Месопотамии.

А не в Библии, правильнее сказать, в нашем семейном предании, устно говорится о том, что Фроим — голубоглазый парень, ищущий работу по жестяному делу в местечке Ялтушкино, — остановился в жаркий день у колодца, чтобы избавиться от жажды. И молодая красавица, вышедшая навстречу утомленному страннику, предложила ему испить водицы. Наклонив ведро, Фроим увидел на поверхности воды, как в волшебном зеркале, отражение девушки, которое видоизменялось, принимая на фоне дыма и пожарищ все новые и новые черты, пока не превратилось в старушечье. И вдруг с ясностью пророка понял: это его суженая, с ней он уже не расстанется до самой смерти.

Так и получилось.

И вот сегодня, 9 марта 1953 года, когда товарища Сталина хоронят, они все еще вместе, при полном согласии и надеждах на будущее, если не будет погрома. Дедушка молится в синагоге, бабушка причитает у радиоприемника, а я думаю.

Сейчас я размышляю на тему: если бы они не встретились в конце девятнадцатого века у колодца, то в середине двадцатого я не появился бы на свет, а много раньше — в 1913-м — мой папа Арон, как и все его старшие сестры — от Мани до Фани.

По именам я помнил всех, но в глаза почти никого, кроме

Фани, не видел. Эти тетеньки с мужьями и детьми жили далеко от Риги — в Одессе, Баку, Кировабаде, Биробиджане. И никто в Москве, чтобы лично проводить товарища Сталина в последний путь. А он, как это наглядно показывало настенное панно в магазине «Детский мир» на улице Ленина, был лучшим другом детей. Одетый в форму генералиссимуса, он держал на руках счастливого ребятенка, а другие, плотно окружив, восторженно лицезрели его белый китель с Золотой Звездой Героя Советского Союза.

Мне, когда я заходил в «Детский мир», чтобы поглазеть на недополученные подарки, хотелось тоже как-то затесаться в группу этой детворы. Но с меня портреты не писали и путевку в Артек на встречу с товарищем Сталиным не выдавали. Довольствовался надеждой на волшебный случай, позволивший и мне, как в сказке, взглянуть на живого Сталина, пусть даже положенного уже в гроб. Он и не припозднился, выпал в нужный момент и в нужном месте.

Сразу, как стало известно о смерти вождя и учителя, среди пацанья распространились слухи, что Тимур набирает в свою команду смельчаков на поездку в Белокаменную для почетного караула у Мавзолея.

Где набирает?

В «Детском мире», на первой ступеньке лестницы, ведущей наверх, у стены с живописным панно, под которой полукруглая арка — проход в отдел верхнего и нижнего белья, включая пальто и костюмы.

Как водится: за что услышал, за то и продаю.

Но не ради продажи, конечно, примчался я в магазин, где посетителей в этот пасмурный для настроения час — с гулькин нос.

— Мальчик, что ты тут стоишь и мешаешь проходу? — обратилась ко мне продавщица, полагая, что я торчу на месте общего сбора без определенной цели.

— Жду.

— Чего?

— Попутчиков.

— Чего? Чего?

— На поездку в Москву. Хоронить товарища Сталина.

— А билеты есть? — Видя, что я замаялся, добавила: — Его и без тебя похоронят! Иди к мамке! К мамке!!! — повысила голос.

— Подождите, тетя! Ребя сейчас подвоят.

— Людям некогда, а ты мешаешь, — разволновалась продавщица. — Двигай в детский отдел милиции, это рядом. И спрашивай там насчет попутчиков. Всех, наверное, уже

арестовали.

Действительно, по соседству от «Детского мира», в двух шагах, располагался детский отдел милиции. Почему так близко? Наверное, по той доступной для размышлений причине, чтобы напугать излишне сметливых подростков, намеревающихся приобрести что-нибудь для личных нужд без наличных.

Денег у меня не было — это факт. Для милиции, понятно, я элемент подозрительный, раз торчу, зыряка по сторонам, в магазине. Отсюда вывод: самостоятельный заход в детскую комнату связан с большим риском. Вдруг спросят: «С какими это воровскими задумками ты шастал между прилавков, вызывая подозрение у добропорядочных граждан?»

«Я ищу компанию тимуровцев, чтобы по-человечески похоронить товарища Сталина.

«По-твоему, положить его рядом с Лениным в Мавзолее, это не по-человечески?»

Как тут выкрутиться?

Любой ответ не покажется разумным человеку в милицейских погонах. И вместо того чтобы стоять в почетном карауле у Кремлевской стены, я попаду в детскую колонию.

Туда я не рвался. Говорили: там не перевоспитывают, а прививают дурные наклонности, а с ними потом прямая дорога в тюрьму.

Сведения эти наши соседи брали не с потолка, а с биографии Лехи, «виртуоза карманного сыска», находящегося в бегах. Выглядел он коротышкой лет на четырнадцать, но был гораздо старше и «баловался пером», но не в смысле писания художественных произведений для серии «Мои первые книжки».

— На мне кровь, я ничего не боюсь, — говорил Леха при встрече и нагло хапал с кона копейки, когда мы играли в «чику».

Казалось бы, что там наберется? Не гроши, а слезы — меньше, чем на молочное мороженое. Ан нет! Приставал — спасу не будет. «Кошелек или смерть!» — выворачивал он по-пиратски к своей «правоте», будто играл главную роль в дико популярном фильме «Остров сокровищ», и бренчал медяками в глубинах кармана, куда без ножика, приставленного к горлу, или пистолета не добраться. Ножик у меня был. И пистолет однозарядный, найденный 1 марта на чердаке. Но все равно связываться с Лехой желания не появлялось, и я никогда не связался бы с ним, если...

Из этих «если», как ни посмотришь на себя в зеркало, имея фингал, состоит вся наша жизнь.

Если бы сидел дома, то не подбили бы закаменелым снежком глаз.

Если бы не нашел в подвале ручную гранату, припасенную

кем-то для рыбной ловли путем глушения до несознательного состояния, то не получил бы нагоняй от мамы, когда положил взрывоопасную игрушку для сохранности под кровать.

Если бы учился на одни пятерки, то вырулил бы в круглые отличники.

Но «круглым» я не был, нагоняй от мамы получил и фингал прикрывал пятаком, чтобы скорей рассосался. Разумеется, не медяк, а синяк.

С тем и жили, песни пели. А наступил час похорон товарища Сталина, полагалось в качестве кандидата в пионеры проявить участие.

Каким образом?

Траурным.

Нет, не миною на лице, а маршем. Инструмент дома присутствовал — маленький аккордеон на сорок басов фирмы «Вельтмейстер», весь из себя перламутровый, голубого отлива, на пять регистров. А с исполнителем проблема. Понятно, и я умел бегать пальцами по клавиатуре, но только по нотной подсказке, а тут требовался слухач, чтобы не испортить торжественную обстановку, когда все стоят по стойке «смирно» и взволнованно взирают на небо, будто там вот-вот зачирикает душа «друга всех детей, вождя и отца народов».

В школе нам говорили, что души нет. Но мы не верили, потому что у каждого она была и нередко сосала под ложечкой, требуя от нас переживаний за всякие глупости.

За то, что насовали в чернильницы окрошку из карбида, и фиолетовая пена залила парты.

За то, что натаскали из школьного сарая в класс мокрые дрова, и они при растопке дымили со столь рьяной охотой, что нам устроили внеочередную переменку.

Словом, держа душу внутри себя без возможности взглянуть ей в глаза, мы готовы были стоять в траурном молчании сколько угодно времени, лишь бы один раз посмотреть, как она выглядит в натуре, когда улетает на тот свет. И такую возможность нам предоставили партия и правительство 9 марта 1953 года, отправляя товарища Сталина на побывку к Ленину в Мавзолей, а его душу к Богу, о котором нам, досрочно готовя в пионеры, говорили, что Его нет.

Получалось, в школе Его нет, а дома Он есть.

Оба мои дедушки — Фроим и Аврум, водившие меня в синагогу по еврейским праздникам, утверждали, что наши учителя ошибаются.

Кому верить?

Если верить дедушкам — опять «если»! — то пятерку не

получишь и маму вызовут на собеседование с наводящим вопросом: «вы печетесь о правильном развитии вашего малолетнего сына, пытая его в сЫна-гогу?»

Если верить учительнице первого класса «а» 67-й семилетней школы, то это не позволит молиться рядом с дедушками по субботам в нашей квартире на Аудею, 10.

Получается, надо полагаться не на чужое мнение, а убедиться на практике: есть Бог или нет Его. И это опять-таки возможно только сегодня, когда душа товарища Сталина полетит на тот свет, где ее встретит Сам Создатель Вселенной. Почему Он, а не Петр-ключник, либо кто-либо другой, ниже рангом? Это даже не вопрос, а просто ляпсус, или нонсенс, или... еще что-то подобное из книжек «не для детского чтения».

Вспомним, что учили наизусть из гимна и повторим вслух для Бога, чтобы и впрямь не отфутболил на встречу сталинской души какого-то зиц-председателя Седьмого неба. «Нас вырастил Сталин — на верность народу. На труд и на подвиги нас вдохновил». К тому же он генералиссимус, как Суворов. И главный специалист по языкознанию, как Даль. И отец народов, и учитель всего прогрессивного человечества, и лучший друг детей, не считая их родителей — рабочих и крестьян, пожарников и лесников, летчиков и моряков, включая Кожедуба, трижды Героя Советского Союза, и дядю Степу, сигнальщика с линкора «Марат».

Какой же должна быть его душа, чтобы взглянуть на нее и не ослепнуть? На солнечное затмение можно зырнуть сквозь закопченное стеклышко. А на его душу? Кто подскажет? Не шалопут-пацаненок, разумеется.

На примете у меня в данный момент никого не было, кроме Ады из циркового ансамбля лилипуток под управлением моей тети Фани. И я пошел к ней в гостиницу «Метрополь», хотя в ногах правды нет. Нет и не надо! К тому же ищу не правду, а истину в первой инстанции, что не одно и то же.

Про инстанцию «моя Дюймовочка» поняла сразу. Ей самой приходилось проходить первую инстанцию, когда в ЗАГСе выясняла о процедуре развода со старшим по артистическому званию лилипутом Петечкой. Но про истину, взмывшую на крыльях души к Богу, ничего не уразумела. Однако притом при всем выручить меня согласилась.

Что необходимо для этого? Почти ничего, пару пустяков: проиграть на аккордеоне траурный марш из нашего подвала-штаба и посмотреть на небо, где угрюмо бродят тучи, чтобы между них — там, где сверкает молния, различить нечто яркое, солнечное, воздушное, чего, по рассказам классных наставников из 67-й семилетней школы, не существует в реальности.

В реальности, может, и нет. Но Ада по натуре была сказочной Дюймовочкой. Ей ли не справиться с музыкальным заданием, когда на манеже она «человек-оркестр»?

И справилась, сыграв в своем гостиничном номере, для репетиции, траурный марш. Сыграв с такой щемящей выразительностью, что дежурная по коридору, как я убедился в замочную скважину, замерла у своего стола по стойке «смирно» и не колыхала даже взволнованной под влиянием мелодии грудью.

Такой успех требовал овации. Но у меня было всего две ладони, и я поаплодировал тишком, чтобы не спугнуть скорбную тишину. Однако овацию пообещал девушке, когда соберу весь отряд — Леньку, Жорку, Вовку, Толика на прослушивание ее сольного выступления с траурными звуками.

Все бы хорошо, но одно плохо. В своем номере Ада играла на гостиничном пианино, которое, по известным причинам, в подвал не перетащишь. Сначала обвинят в воровстве, а потом, когда догадаются, что у нас и силенок недостаточно до столь габаритной кражи, припишут хулиганство в общественно-значимом заведении. И первое, и второе в наши планы не входило.

Нужен был аккордеон!

Рабочий инструмент Ады находился в закрытом из-за траура цирке, мой — дома, когда я не ходил с ним на уроки к Доре Цезаревне. До него, упакованного в походном футляре под роялем «Тресселт», было ближе. А от него до подвала, куда я пригласил Аду на гастроли, еще ближе. Так что...

Да, именно так и поступили. Миниатюрную девушку я сопровождал по крутой лесенке в штаб: пусть освоится в незнакомой обстановке. И рванул на этаж за «Велтмейстером», заодно не позабыв прихватить и найденный на чердаке однозарядный револьвер, чтобы «тишком» дать салют.

Кто бы мог заранее предположить, что штабное помещение моего отряда облюбовал для тайных посиделок Леха-крадунист, находящийся, по собственному признанию, в бегах. Бегал бы себе и бегал, когда не сидится на месте за решеткой. Но нет! Совсем наоборот, с одного места отсидки перебрался на другое, прямиком под нашим домом на восемь крутых ступенек. И кукует себе в одиночестве, ждет удачи, которая в гости пожалует.

А вот и она — здрасте!

Удача пожаловала в гости к Лехе в образе и подобии красавицы лилипутки, умеющей срывать аплодисменты даже под куполом цирка, не то, что в каком-то задрипанном погребе, пахнущем прелой картошкой. Правда, Ада, пусть сто раз назовется сказочной принцессой в своей пушистой шубке на

кроличьем меху, ему была, честно признаться, до лампочки, которой, к слову, в его распоряжении под землей не имелось. Его интересовали не литературные произведения Андерсена, а денежные знаки, в значении — рубль, три, пять.

— Кошелек или Ада! — сказал он на доступном языке пиратов, когда я спустился в подвал с аккордеоном «Вельтмейстер» на груди. Футляр я оставил под роялем, чтобы домашние ничего не заподозрили, а рукоятку револьвера сжимал в кармане пальто.

Плененная, но отнюдь не связанная по рукам и ногам, принцесса цирка фыркнула:

— Bravo! Брависсимо! Что за реплика?! Bravo, какой артист в тебе умирает, хотя мозгов ему кот наплакал!

— Заткнись! — погрозил ей кулаком матерый уголовник, не вышедший ростом, чтобы выглядеть на уровне своего возраста. — Не шей мне мокрое дело. Никакой артист тут не умирает. А будешь выступать — твои мозги вышибу.

— Снимай штаны, знакомиться будем! — ядовитая дразнилка разбитных лилипудок, не менее популярная и среди девчонок нашего двора, чуть ли не довела обидчика до помрачения рассудка.

— Я тебе за штаны башку оторву!

— Этого тебе не позволит мой капитан.

— Кто капитан?

— Мой командир!

— Я спрашиваю — кто? — Леха нагнетал воздух парами злости и страха, боясь милиции, где тоже водятся капитаны.

— Фимуля!

— Как капитан? Какой командир?

— Я ему честь отдавала.

— Нашла чем хвастаться! — вздохнул с облегчением. — Лучше бы горсть монет насыпала. Мне деньги нужны.

— Мой командир не позволит тебе такие удовольствия жизни.

— Чья бы корова мычала, — Леха резко повернулся ко мне, поднеся кулак к самому носу. — Гони монету, пионером станешь к лету!

Дьявол его задери! Чем бы поязвительнее врезать в ответ?

— Лошадь, ложку и жену никому не отдаю, — отчеканил я по-солдатски, вспомнив, что на Первой мировой войне, по рассказам дедушки Аврума, подобным присловьем отвечали его сослуживцы, если у них просили что-нибудь, кроме махорки.

Леха не врубился в исторический экскурс, продолжал гнуть свою преступную линию.

— Сколько стоит чистоганом твой игровой аппарат? — спросил будто ненароком.

— Так я тебе и сказал, нашел дурака.

— Ну?

— Гну!

— Не гни без надобности, коли по фене не ботаешь.

— Не помню.

— А дважды два помнишь? — глумливо усмехнулся тюремный сиделец, будто он заодно и великий Эйнштейн в кубе.

— Это если сложить или умножить? — подловил я недоучку вопросом на засыпку.

Спасительное «если» поставило вора-крадуниста в тупик. Он пошевелил извилинами, и на его лбу запрыгала жилка, наливаясь синим светом, как мигалка у входа в рентгеновский кабинет. Было очевидно: умножить два на два Леха не был способен при всем напряге обоих полушарий, наполненных серым веществом, правда, не совсем умственного качества.

— Побазлали и ладно! — сказал он нарочито сердито, скрывая смущение, почерпнутое из математического убожества. — Я за тебя в ломбард не пойду с музыкальным аппаратом, а тебя посылать без паспорта — сплошные убытки. Так что решай, последний раз говорю: кошелек или Ада!

— Или Ада! — поставил я твердую точку. — Кошелек все равно нет.

— А это мы сейчас проверим! — тиснулся ко мне Леха, намереваясь пошарить по карманам.

Но напоролся на выставленный в живот ствол. И зашмыгал носом, мгновенно став похожим на малолетнего несмышленика, хотя было ему под двадцать, а то и больше.

— Уходи, Леха, мы здесь будем музыку играть.

— Концерт по заявкам трудящихся? За наличман?

— На похоронах бесплатно.

— Кого хороним?

— Отца народов, вождя и учителя.

— Троих чохом? В одной братской могиле?

— Тут вообще не могила. Тут штаб. И мы будем сидеть и ждать под музыку, когда на небе появится душа.

— Кого? Отца народов?

— Вождя и учителя.

— И ради этого сидеть? Нашел охотника срок мотать за бесплатное кино! Ты мне лучше нарисуй картинку с его лица, ту, что на четвертной.

— Я не художник.

— А она? Или она — «я не папина, я не мамина, я на улице

родилась, меня курочка снесла», а?

— Бэ! Имей понятие: для Фимули я — «моя несравненная Дюймовочка!» — возмущенно откликнулась лилипутка и, игнорируя угрозы Лехи, выраженные в непечатных словах и зубовном скрежете, приняла у меня аккордеон. — Не хочешь слушать, катись барашкой по сивым вражкам. И не мешай моему капитану смотреть на небо.

— А что? — засомневался Леха. — Всамдел там душа появится?

— Заткнись! — и я взвел курок револьвера.

И любимица цирковой публики распахнула меха, подхватила мелодию, льющуюся во двор из окон вместе с попутными словами: «Вы жертвою пали в борьбе роковой. Любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли, за него. За честь его, жизнь и свободу!» Но откуда они доносились: со второго, третьего, четвертого, или со всех этажей разом, я не различал. Слишком усиленно, до рези в глазах, всматривался в наплывающие облака.

Где душа товарища Сталина?

Где?

Души я не увидел. Только услышал, как Леха безнадежно произнес:

— Гиблое это дело!

Он сиганул по ступенькам, подальше от моего пистолета — наверх к выходу из подвала и заслонил тощим задом небо, может быть, именно в ту торжественную минуту, когда по нему возносилась душа.